



М. П. ПОГОДИН



ПОВЕСТИ
ДРАМА



Михаил Петрович Погодин

Черная немочь

Впервые напечатано в «Московском вестнике», 1829, ч. II, с. 1–71, за подписью «М. П.». Отдельным изданием — М., 1829.

Эпизод гадания на «шарах» (глобусах) был рассказан Погодину Д. М. Перевоицким (1788–1880), математиком и астрономом, профессором Московского университета.

В дневнике Погодина от 9 декабря 1828 г. имеется запись: «К Пушкину. Прочел „Немочь“. Хвалит очень, много драматического и проч.» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 2, с. 17).

В Петербурге устраивали публичные чтения повести и сообщали оттуда Погодину: «Здесь все: и профаны, и люди мыслящие — превозносят ее, потому что находят в ней пищу» (II, 297).

Белинский писал в 1835 г., что «Черная немочь» «есть повесть совершенно народная и поэтически нраво-описательная», что в ней представлена «полная картина одной из главных сторон русской жизни, с ее положительным и ее исключениями» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. 1, с. 277).

Михаил Петрович Погодин

Черная немочь

— У себя ли Федор Петрович, Афанасьевна? — спрашивала, выходя на монастырь из церковных ворот, толстая купчиха низенькую, приземистую женщину, которая, сложив руки, стояла у калитки священникова дома и разговаривала с своею знакомою.

— О каком Федоре Петровиче вы изволите спрашивать, сударыня?

— Да о священнике.

— Тьфу пропасть! Я ведь и забыла его имя; навыкла все звать батюшкою. Добро пожаловать, сударыня, милости просим. Он изволил лечь отдохнуть после обеда, да скоро встанет: пономарь приходил уж спрашиваться, не пора ли благовестить к вечерне; но матушка велела обождать маленько.

— Так матушка дома?

— На погребу, Марья Петровна. Вчера мы капусту рубили, так она с батраком кладет гнеты на кадки и моет кружки, — а я вот выбежала переговорить с соседкой. Да что она прячется, чего испугалась?

— Проводи меня к матушке, Афанасьевна, — сказала гостя и всунула в руку будущей проводницы двугривенный, за который

сия последняя насильно поцеловала у ней пухлую руку, вырвав из-под черного атласного салопы.

— Грязно вам будет пройти, сударыня: у нас на дворе нечисто, да и матушка разгневется на меня. Сем-ка я позову ее самое.

— Нужды нет, милая, зачем ее отрывать от дела.

— Как изволите, сударыня. — Ты, сестрица, подожди меня здесь минуту, — закричала Афанасьевна знакомке, давно уже спрятавшейся за колокольню, и повела свою благодетельницу через грязный двор по насланным доскам к погребу, из коего доносились уже к ним глухие звуки протопопицной брани, обращенной к батраку, который ворочал камень в подземелье под ее руководством.

— Бог в помочь, матушка! Захлопотались вы. На вас и праздника нету.

— Кто там? Ах, свет мой, Марья Петровна, куда вы по жаловали и как меня застали! Вот уж проказница, нечего сказать, — отвечала смутившаяся протопопица, вылезая из ямщика по изломанной лестнице. — Извините ве-

ликодушно... — и началось троекратное целование. — Что ты, дура, не вызвала меня! — проворчала она тут же, в мгновенных промежутках, оборачиваясь к Афанасьевне.

— Я хотела было, да Марья Петровна сама не изволила.

— И — матушка, не гневайтесь! Дело хозяйское. И с нами то ж случается; домок вести не шуточка; свой глаз везде хорош: где недосмотришь, там ведь мошной заплатишь.

— Умная речь, Марья Петровна! Милости же просим в покои. Степка! убери здесь все, да навесь петлю в двери на творило, а ты, Афанасьевна, запри после погреб, и ключ ко мне. Милости просим.

— Почем покупали капусту нынче, матушка? — спросила дорогою гостя.

— Нынче дорога была, Марья Петровна, не уродилась, видно, оттого, что дождей было много. Да у Федора Петровича есть сын духовный — огородник, в Красном селе, так он и уступил мне девять гряд по три рубля.

— Не больно чтобы дешево. А сколько кочней на гряде вышло?

— Кочней по сороку. Но зато и капуста!

кочни тугие, белые. Одной серой для рабов нарубили ушатов семь. Правду сказать: и дорого, да мило; и дешево, да гнило.

Между тем вошли они в покои с заднего крыльца, и гостя, вынув из-под полы кулечек, тихонько, как бы мимоходом, вручила его хозяйке, которой сначала, разумеется, было очень совестно принять его; но после она должна была уступить настоятельному требованию доброхотной дательницы.

— Чем же мне дорогую гостью потчевать? — сказала протопопица, спрятав кулечек под кровать, и тотчас посадила Марью Петровну под образа; забренчала ключами, которые тряслись у ней на поясе, вынула из шкапа рюмку и бутылку столового вина и, налив по края, поднесла со многими поклонами к усевшейся чинно гостье.

— Всем довольна, благодарим покорно, матушка.

— Пожалуйте хоть откусать.

Купчиха, отведав, или лучше, омочив только губы в вине, поставила рюмку на поднос и после многократных повторений возгласу «*пожалуйте*» и объяснений со стороны

протопопицы, что в тот день было разрешение вина и еляя, выпив полрюмки, объявила решительно, что больше пить не может.

— И так уж, матушка, я вас уважила, а то ведь я горячего, извольте знать, не употребляю. А батюшка почивать изволит?

— Лег отдохнуть. Нынче было много именников, так он устал за молебнами и поздно вышел из церкви, а вчера просидел долго у каретника Третьего. Пора уж и будить его; в соборе давно заблаговестили к вечерне. А, да вот он и сам идет: ему не спится, когда время служить.

— Ба, ба, ба, Марья Петровна, — воскликнул отец Федор, протирая себе заспанные глаза и снимая с головы шерстяной колпак. — Как это вы вспомнили об нас?

— Нуждица, батюшко, — пришла к вам поговориться, — отвечала Марья Петровна, подходя под благословение своего духовника, коего супруга между тем, подржав кое-как дырочку на крепко увязанном кульке, с удовольствием увидела, что там кроме пяти фунтов чаю находилось еще несколько свертков с пастилою и прочими закусками.

— Рад служить, чем лъзя. Да не изволите ли подождать здесь полчаса-места, я только что вечерню отслужу. Али не терпит время?

— Время терпит, сударь; покамест мы с матушкой переговорим.

— Ладно. Так слушай же, Фенюша, угощай дорогую гостью, а я к вам ворочусь разом.

Знакомки занялись разговорами о возрастающей дороговизне съестных припасов и будущей дешевизне ситцев, которые позволено было по новому тарифу выписывать из-за границы; и хотя любопытная протопопица беспрестанно обращалась на предмет неожиданного посещения гостьи, однако скромная гостья всякий раз отделялась от нее односложными ответами и продолжала прежнюю речь о домашнем быту, пока наконец хозяин не возвратился к ожидающей.

— Самовар скорее, Феня, да просила ли ты Марью Петровну монастырским или польным?

— Всем потчивала, да изволит спесивиться.

— Подавай, подавай. Нет, Марья Петровна, в чужой монастырь со своим уставом не хо-

дят. К тому же вы у нас редкая гостья: вы кушали чай на Святой в воскресенье после вечерни, а после того, кажись, и глаз не показывали.

— Помилуйте, батюшко, да в духов день мы гостили у вас долго и с сожителем.

— Виноват, помню, помню.

Между тем Марья Петровна говорила очень отрывисто, поглядывала исподлобья на свою хозяйку, — и сметливый хозяин тотчас догадался, что ей хочется открыться перед ним наедине, и повел ее за руку в другую комнату.

Любопытной протопопице было это очень неприятно, даже обидно, и если кулек, разложенный теперь пред нею во всех приятных подробностях, не задабривал ее несколько, то ее неудовольствие излилось бы в язвительной речи перед Афанасьевною, которая принесла ей ключи от погреба и не менее ее горела желанием узнать причину посещения купчихи.

Забежав перед тем к своей знакомке, оставленной нами под колокольнею, получила она от нее настоящее поручение раз-

ведать, зачем Авакумиха пришла в такое необыкновенное время к отцу протопопу. Сия знакомка — надобно предупредить читателей — принадлежала к числу тех тучных щепетильных торговок, которые высовывают свои головы из подземельных лавок близ Сухаревой башни, около церкви Троицы на Листах и вместе с нитками, шерстью, шелком и прочими вещами такого рода производят обширную меновую торговлю всеми семейственными новостями в той части города.

Читатели могут судить, с каким сердцем отвечала протопопица маме, — между тем как в противном случае, то есть зная, о чем речь, она почла бы за особенное удовольствие удовлетворить ее любопытству и показать свое умение решать всякие запутанные дела.

— Не твое дело, — отвечала она ей отрывисто, и Афанасьевна, с которой обыкновенно обращались запанибрата, но иногда держали в страхе, принуждена была замолчать, прикусив губы, и выждать благоприятной минуты.

Между тем обе они, занимаясь приготовле-

ниями к чаю, поглядывали на затворенную дверь, из-за которой слышен был невнятный шепот и за которую я должен теперь переселить моих читателей.

— Бог посетил нас, батюшко, ума приложить не могу. Сынку нашему Ганюшке так тоскуется, что на свет божий подчас не смотрит, все молчит, как к смерти приговоренный, иногда плачет. Я уж и тем и сем его тешу: и шубу енотовую купила в семьсот рублей, и шапку бобровую, и сукна тонкого на сюртук: ничто не в помощь — такая-то черная немочь нашла на него.

— А какво ведет он себя?

— Как красная девушка. Грешить нельзя на бога. Ни пьет, ни играет...

— Не слюбился ли с кем?

— Бог весть, сударь. Сама было я подумала на это, да нет: ворожейка вечер мне гадала и на воде, и на кофе, и на картах: полюбовницы нигде не выходит. Грусть есть, да сама не знает, какая. Не испортил ли кто его, моего голубчика, спросила я, — ведь от лихого человека не убережешься, батюшко, — и того нет.

Ходила еще я намедни в навирситет: там один солдат всякую судьбу рассказывает, вертя какие-то два большие шара, все исписанные мелко-намелко и раскрашенные, в медных обручах, — один шар — небо, а другой — земля. Так вертел он их для меня, что ажно в глазах зарябело, а после стал все открывать, да что-то мудрено, — я, признаться, ничего и не поняла.

— Напрасно, Марья Петровна, вы прибегаете к таким мерам. Они достойны всякого порицания, и только великим раскаянием изгладить их можно пред богом. Это диавол, пакостник нашей плоти, смущает.

— Ох, батюшка, знаю сама, что грех смертный это чернокнижье: да ведь уж с горя. Помолитесь хоть вы обо мне недостойной!

— Скажите мне теперь — давно ли с ним случилось это?

— Давно уж, батюшко, он ходит, как темная туча, — года с два, — а растужился-то больно третий месяц; беда да и только. Судите, сударь, он у нас один, словно порох в глазе. Да еще что: боюсь я пуще сожителя: ведь он у меня, сами знаете, такой, бог с ним, суро-

вой да строгой; молчит, молчит — да как рассердится на Ганю, как пришибет его за что-нибудь, так неравен час, долго ли до греха, — а у Семена Авдеевича рука такая тяжелая, такая тяжелая, что... (тут остановилась Марья Петровна, спохватившись, что уже и так сказала лишнее).

— Спрашивали ли вы его, отчего в нем такая печаль?

— Я всякий день почти спрашиваю. Наладил себе в ответ: ничего да и только, больше не добьешься. Я обещалась уже, батюшко, сходить пешком к Троице-Сергию, да по пути хочу побывать у одного старичка, налево от большой дороги за Братовщиною. Говорят, что он тоже всю подноготную ведает; как вы приговорите, батюшко? Вы нас до короткости знаете. Я всякого понятия лишилась. Правду сказать по пословице: чужую беду на воде разведу, а к своей, так и ума не приложу.

— Я ничего не могу сказать вам наскоро, любезная моя Марья Петровна. Сына вашего я знаю, вижу, как он и в церкви божией ведет себя, и ничего дурного за ним не примечал досель. Пришлите-ка вы его лучше ко мне: я

постараюсь, опираясь на божие слово, преклонить его к откровенности и, может быть, при помощи свыше, успею в том. Никто таков, как бог. Тогда уж легко будет подумать и о средствах, как пресечь зло.

— Ах, батюшко, вы мне жизнь даете. Ганюшка вас ведь много любит и уважает. Вот я бессчетная! Ну что бы давно этому придти мне в голову, ну что бы давно мне покучиться вам об этом — теперь все дело, может быть, было бы уж улажено. Так, так — лучше и придумывать нечего. Когда же, батюшко, прислать мне его к вам?

— Да хоть завтра, около поздних обеден!

— Очень хорошо, сударь, тем и лучше. Завтра большой праздник, в кругу крест[1], и в рядах не сидят.

— Самовар кипит, — закричала нетерпеливая протопопица, которая наконец стала уже и просто подслушивать у двери, выслав Афанасьевну кипятить сливки, — милости просим сюда, все ли переговорили?

И священник, услышавший приятное воззвание, вышел тотчас вместе с своею духовною дочерью из исповедной комнаты, повто-

ряя ей последние слова свои о присылке завтра сына.

Мы не станем описывать беседы за самоваром о предметах, для нас посторонних: протопоп препоручил Марье Петровне уведомить ее сожителя, главного прихожанина, принимавшего живое участие во всем, относившемся до храма божия, что богатый граф Н. после похорон своего дяди купил очень мало парчи на ризы, и потому они будут несколько коротки и узки, особливо для дьякона, — и потом, что завещание мещанина О., отказавшего церкви пять тысяч рублей на поминовение об его душе, утверждено законным порядком и задним числом в уездном суде. Притом сия беседа была очень коротка: Марья Петровна торопилась, чтоб хозяин, возвращавшийся всегда об эту пору из города, застал ее дома, закрыла уже вторую чашку и, несмотря на настоятельное требование хозяйки, никак не стала пить больше четырех, поднялась немедленно, расцеловалась с матушкою, взяла благословение у батюшки, поблагодарила униженно обоих за угощение, благие советы и будущие милости и отправилась.

Как ни спешила она, однако опоздала и в первой раз в продолжение тридцатилетней своей замужней жизни пришла домой после своего хозяина. Насупив брови, сидел он в переднем углу, ворчал и поглядывал в окошко.

— Бог милости прислал, Семен Авдеевич! Батюшка Федор Петрович и матушка вам кланяются, — сказала дрожащим голосом обробевшая супруга грозному супругу.

Семен Авдеевич, надо предупредить читателей, был русским мужем в полном смысле этого слова, не любил шутить, не допускал, чтоб Марья Петровна жаловалась на его привязанность, — и у него всякая вина была виновата. Вообще он был человек упрямый, не терпел прекословий и требовал, чтоб слова его были принимаемы за святые и ненарушимые. Домашние боялись его обыкновенного взгляда, не говоря уже о минутах гнева, когда все вокруг его приходило в трепет, — и с подострастием исполняли его приказания, которых он никогда не повторял. Этого пока нам довольно знать об его характере.

— Семен Авдеевич, — начала опять Марья

Петровна, скинув салоц, повесив его на гвоздик и занавесив простынею, — я ходила ведь к батюшке посоветоваться о нашем горе. Отец протопоп велел прислать Ганю завтра к себе и обещался божиим словом уговорить его и наставить на путь истинный. Может быть, это и пойдет ему на пользу. Ведь вы знаете сами, какой Федор Петрович — речистой: заговорит о чем божественном, словно рекою польется, так плакать и хочется; а Ганюшка наш очень к нему привержен.

— Что тут пустяки околачивать, — отвечал супруг, несколько смягчившись, — я придумал, что делать надо с Гаврилой. Женить поскорее и концы в воду. Мне уже давно заговаривал сват из железного ряда о Куличевых, и я заварил кашу. Сегодня же придет к нам сваха — знаешь — торговка с Листов, что сватала Иванову куму, Савишна. Она мне даве встретила. Нам чего лучше. Старик-ать в миллионе.

— Да дочь ведь не одна у него, Семен Авдеевич, не то две, не то три. Правда, те уже давно замужем, отрезанные ломти.

— У Куличева на всех достанет. Об этом ту-

жить нечего. А когда поп велел прислать к себе Гаврилу?

— Завтра после обеден.

— Это, впрочем, не мешает... да вот и гостья наша...

В комнату вошла женщина лет под сорок, среднего роста, в черном тафтяном поизношенном салопе, повязанная скромно саржевым платком кофейного цвета, помолилась усердно образу, в переднем углу висевшему, и раскланялась пред хозяевами.

— Доброго здоровья желаю вам, сударь Семен Авдеевич, и вам, сударыня Марья Петровна. По добру ли, по здорову вы поживаете?

— Помаленьку, Прасковья Савишна, — отвечала хозяйка. — Прошу вас покорно садиться. Что давно не видать тебя было, мой свет?

— Захлопоталась, родная. Нынче в мясо-ед-то бог сподобил меня пять свадеб снарядить, да такие-то нёшто все богатые, да добрые, да великодушные; так я то у свекров да свекровей гостила, то у тестей да тещей, то у молодых. Никто ведь от себя не пускает, — за руки держат, — хоть век живи на всем наготовом, — что твоей душеньке угодно, пей,

ешь и веселись.

— Э, брат Савишна, ты рада тарабарить о пустяках, — сказал ей улыбаясь хозяин, — а нам слушать тебя некогда, разве Маше на досуге. Поднеси-ка ей, жена, горского или горького, да и приступим к своему делу.

— Ох-хо-хо, батюшко Семен Авдеевич, вы все такие же, как прежде, слова не дадите выговорить. Ведь на то и язык бог дал, чтобы говорить. Спасибо еще, что со слов пошрины не берут. Намолчимся в могиле, мой родимый!

Между тем Марья Петровна напенила ей бокал.

— Доброго здоровья желаю вам, мои благодетельные! Коли вперед дают магарыч, так, видно, после не будет обиды. Ну, мои батюшки, у вас, слышала, есть купец, а у меня есть товар. Давайте торговаться.

— Какой же бы это был у вас товар? — сказал с гордостью тою же аллегорией купец, потирая себе рукою бороду и усы. — Чтобы намста в лавку принять было не стыдно.

— Куда больно надменны, Семен Авдеевич, уж и в лавку принять стыдно! Не бойтесь, сударь; нашего товару не охает ни дворянин, ни

купец первостатейный. Во-первых, есть у нас на примете у Куличева, у Григорья Сергеевича, дочка — маков цвет, сто тысяч денег чистогану, на пятьдесят приданого; у Жестиной внучка, — правда, постарше, да зато единородная, каменный дом с лавками на Смоленском рынке, приданое порядочное, и жемчужку есть, и бриллиантиков, крепостных вволю, и всякое домашнее обзаведение; у Нестаровых племянница сирота, приданого поменьше, зато собою красавица, полная, румяная, здоровая, на фортопьяне так и рассыпается, что на твоих гусях, и по-французскому умеет, бойка, резва...

— Полно, полно, Савишна, нам таких не надо, — прервал старик, — нам давай попроще да попрочнее.

— Чего же искать долго, — сказала Марья Петровна, — Куличева мне не противна. Девушка скромная и смирная; намедни я видела ее на гулянье с родителями. И семейство хорошее, не баламутное, родни немного. Нет ли у тебя, Савишна, росписи от них?

— Где ж, матушка, роспись! Я ведь не знаю еще, как и согласятся они...

— Как согласятся! мы разве кланяемся, — закричал сердито старик. — Невест много, хоть пруд пруди.

— Ох, Семен Авдеевич, все ты не туда воротишь! кто, батько, всякое лыко в строку ставит. Я ведь не к тому речь вела, а сказала только, что надо мне переговорить с ними прежде. Поверьте мне, я вас по соседству всею душою люблю, зная, что вы меня не обидите, и постараюсь дело уладить. Завтра же — к обеду, коли за тем стало, принесу вам роспись. А и то сказать: если вы уж так заспесивились, так ведь мы с своим товаром и прочь пойдем. Женихи у меня есть и другие. Недалеко сказать, подле вас живет майор, четвернею в карете может ездить, а это ведь по нынешнему великатству не шутка, и с кавалериею. У головы сын...

— Перестань, Прасковья Савишна, — сказала хозяйка, — ты на моем муженьке не взыщи: ведь уж у него всегда речь такая, зато без лихвы.

— Разве так, то...

— О, травленая, — сказал, развеселившись, купец, посмотрел с улыбкою на сваху, и, вы-

нув из бумажника красную ассигнацию, подал ей.

— Ну вот давно бы так — теперь и за дело приняться охотнее и веселее, — отвечала она, завертывая ассигнацию в узелок на платке. — Прощайте же, мои светы, до завтра; мне надо еще забежать кой-куда: просили принести в одном доме сережки, а в другом турецкой платочек, — прощайте.

Свахе налили еще бокал горского. Она выпила, поклонилась опять по-прежнему, раскланялась и ушла.

Старики разговорились между собой о невесте, и тем кончился первый день, в который мы их узнали.

Назавтра Авакумов, воротясь от ранней обедни, послал своего сына к отцу Федору с угрозою, что ежели и пастырское наставление останется втуне, то уж сам он примется по-своему.

Отец Федор, к которому родители посылали сына с такою надеждою на успех, под грубою, простою наружностью, нам уже несколько известною по разговору его с Ма-

рьей Петровною, — скрывал многие превосходные качества: он имел разум, просвещенный наукою, сердце доброе и чувствительное, характер твердый и решительный. Он ходил, правда, неловко, не любил околичностей, отвечал всегда жестко и наотрез, не знал никаких светских приличий и осторожностей, утирался рукою, — но читал и понимал блаженного Августина[2] и Канта, восхищался всякою глубокою мыслию, истинно соболезновал сердцем при виде несчастий ближнего и скор был на подание помощи. Говорил он обыкновенно тяжело, кроме тех только случаев, когда, свергнув оковы школьной схоластики, переставал мудрить и давал волю внутреннему горячему чувству, не охлажденному летами. Тогда речь его преисполнялась убеждения, и он овладевал душою слушателя. Между прихожанами славился он своею ученостию, чистотою нравов и готовностию на всякое доброе дело.

— Добро пожаловать, Гаврило Семенович, — так приветствовал он вошедшего купецкого сына. — Родительница ваша просила меня переговорить с вами; очень рад, если

могу служить чем вам и вашему почтенному семейству, от которого я видел всегда столько знаков благорасположения. Прошу покорно в гостиную. Афанасьевна! коли придет кто ко мне, проси обождать часок-места, теперь-де, не время.

С сими словами повел он духовного своего сына по чистому половику в опрятную комнату, украшенную по стенам большими портретами митрополитов Платона и Амвросия[3], преосвященного Августина[4] и ставленую грамотою[5] в большой золотой раме. В переднем углу, под сению красивых искусственных верб, висел образ Казанской божьей матери, пред коим теплилась лампада и горела восковая свечка. Окошки задернуты были миткалевыми белыми занавесками. На столах, покрытых, как и стулья, затрапезными чехлами, не видать было ничего, кроме гусяного крыла в углу, коим сметывалась пыль, и нескольких поминаний на наугольнике под образом. На середине стола лежала Библия в октаву[6], разложенная на апостольских посланиях, и глазуновский месяцеслов[7].

— Отчего вы так похудели, мой любезный

друг? — так начал священник, расположившись с своим гостем на софе, хотя было сей последний долго отнекивался и не решался сидеть на таком высоком месте.

— Не знаю-с.

В самом деле молодой человек, которому было не больше семнадцати лет от роду, имел лицо совершенно обтянутое, бледное как полотно; в глазах у него заметно было что-то возвышенное и благородное, но они были тусклы, впалы, и только изредка из-под густых бровей сверкал луч жизни. Однако же он был не дурен собою, имел черты лица правильные, широкий лоб с глубокими чертами, белокурые волосы.

— Родительница ваша, — начал с расстановкою, откашливаясь, подготовленную речь отец протопоп, — родительница ваша, дочь моя духовная и любезная, приходила к нам вчера и рассказывала чистосердечно о своем несчастьи. Она объяснила нам, что вы долгое уже время о чем-то неведомом печалитесь, а чрез то на нее, а ровно и на сожителя ее, а вашего родителя, наводите тоску. На сие самое я как пастырь церкви и отец ваш духовный,

долженствующий... х, х, х, кашель одолевает меня... долженствующий пецись о вверенном ему стаде, так и по просьбе вашей родительницы, обязанным себя считаю войти в ваше положение и подать вам благий совет. Различны бывают искушения, которым подвергается человек в сей жизни, но кийждо искушается от своя похоти влеком и прельщаем[8]. Тоска ваша принадлежит, может быть, к сему числу. Всякую радость имейте, говорит тот же святой апостол Иаков в своем соборном послании, егда во искушения впадаете различна: ведяще, яко искушение ваша веры соделывает терпение; терпение же дело совершенно да имать, яко да будете совершенни и всецели, ни в чем же лишени. Отчаяние же принадлежит к числу смертных грехов, а вера, надежда и любовь составляют основание христианских добродетелей. Возверзи печаль твою на господа, говорит псалмопевец Давид. Действительно, молитвою человек облегчает и укрепляет душу свою, и на сию усердную заступницу нашу... Эхма, лампадка-то погасла, знать, масла плут лавочник отпустил не свежего... молящийся может возло-

жить упование. После сего беседа назидательная с пресвитерами[9] духовными и другими мудрыми людьми принадлежит к числу действительнейших средств, к которым прибегать советуют многие учителя церкви, а между прочими и ныне празднуемый св. Василий. Разумеется, я, недостойный, не дерзаю равнять себя с великими светильниками, которые выводили всегда заблудших овец своих на путь истины и жизни; но по усердию моему к вам и семейству вашему ласкаю себя надеждою, что и моя грешная молитва и мое смиренное неразумное слово окажет какое-либо хотя малое действие.

Священник был очень рад, что, кончив наконец длительную речь свою, украшенную по Бургиевой риторике[10] сравнениями, свидетельствами от противного и примерами, он сложил наконец тяжелое бремя, его угнетавшее со вчерашнего дня.

— Чувствительную мою благодарность приношу вам, сударь, — отвечал юноша, — за ваше участие ко мне. Давно уже хотел я упасть к ногам вашим и просить вашего пастырского совета; но все опасался обеспокоить

вас моею просьбою, сомневался, что мои мысли покажутся вам неблагоразумными и мечтательными и навлекут на меня укоризну. Теперь я очень обрадовался приказанию родителей, которое столько согласно с моим собственным желанием.

— И — что за опасения, что за сомнения, друг мой милый. Будь уверен, что я не употреблю во зло твоей доверенности. Мы вместе рассудим дело. Вспомни, что я венчал твоих родителей, крестил тебя, носил на руках и, ребенка еще, любил от всего моего сердца. Теперь не могу без слов смотреть на тебя: задумчивость и уныние, начертанные на лице твоём, внушают в меня сострадание; предчувствую, что, узнав твое состояние, я должен буду соболезновать о тебе. Излей же предо мной всю душу твою — скажи мне, от чего твоя грусть, тоска и печаль.

— Батюшко, я хочу учиться.

— Как, как! что такое, учиться? Как учиться? Чему учиться? — воскликнул удивленный священник, вовсе не ожидавший такого ответа.

— Да, батюшко, давно уже зародилось во

мне это желание. Оно не дает мне покоя ни днем, ни ночью. За прилавком в городе, за чайным столом в гостинице, дома в комнате, на улице среди прохожих, в церкви божией, везде, всегда мерещатся мне вопросы, на которые отвечать я себе не в силах и которые, как демоны какие, беспрестанно уязвляют меня и мучат. Мне все хочется знать, знать... и отчего солнце восходит и закатывается, и от чего месяц нарождается и опять убывает, и от чего звезды падают, и каким светом сияют они, от чего радуга блестит своими яркими цветами, от чего облака носятся, гром гремит, молния сверкает; от чего горы поднялись и опустились долины, какую цепью соединяются на земле божий твари, камни, травы и звери, почему каждая из них необходима, что такое человек, что он на земле делает, откуда он пришел, куда он идет, какое таинство открывается ему смертью, как мысль в голове зачинается и плодится; как выговаривается она словом, — от чего во всяком царстве есть крестьянин, мастеровой, купец и дворянин, как на один рубль, если он будет переходить из рук в руки, накупается столько ж, сколько

и на миллион рублей, от чего бумага идет наравне с золотом, — всегда ли было так на земле, как теперь, как все это стало, лучше ила хуже было прежде, везде ли так, как у нас, от чего разрознились народы, языки и веры, что такое счастье, несчастье, судьба, случай, что такое добро, зло, воля, разум, вера, что такое бог...

Слезы в три ручья полились из очей воспламененного юноши — он не мог говорить больше. Истощившись от напряжения всех своих нравственных сил в продолжение сей торжественной речи, произнесенной им со всем жаром, какой только может придать живому человеческому слову внутреннее, сильное чувство, — под бременем собственных своих вопросов, которые каким-то бурным потоком вылились теперь внезапно из груди его, долго в ней заключенные, пал он в объятия к священнику. Старец смотрел на него с изумлением и, пораженный сею истинною силою, которая везде, всегда, на всех, добрых и злых, хитрых и простых, оказывает — одинаковое действие, прижал его к своему сердцу.

— Друг мой, друг мой, благодать божия тебя осенила, — сказал он, обливаясь слезами. — Вопросы твои должен делать себе весь человеческий род, но по грехам нашим только избранные постигают их важность, только мудрые стремятся решить их.

— Как, батюшко, — воскликнул юноша, приподняв свою голову, — и другие тоскуют так же, как я? Я не один! Мою тоску вы хвалите? Она не мечтательная?

— Нет, нет, сын мой. Расскажи мне теперь всю историю твоей жизни. Зачем прежде не открылся ты мне? Всеми силами буду я стараться за тебя пред твоими родителями, и бог нам поможет.

Юноша ободрился. В первый раз от роду выговорил он заветную свою тайну, облегчил свое сердце доверенностию, узнал, что его скорбь, вопреки мучительным опасениям, имеет твердое основание, в первый раз услышал приветное слово. Легким румянцем покрылось просиявшее чело юного гения, которому сама благая мать-природа внушила великие вопросы, плод вековых трудов и опытов, задачу человеческой жизни, — который

доселе в неведении великих, могущественных сил своих, с лютым червем сомнения в сердце влачил унылую жизнь среди всех возможных препятствий. Он стал говорить свободно и величественно, как будто вдруг упали оковы с его духа и он переселился в другую высшую сферу. Счастлив священник! из уст помазанного человека, в цвете его сил, в первую высокую минуту его самопознания услышал он чудную повесть его жизни, как она представилась вдруг его чистому воображению! Мы можем передать здесь читателям только слабое эхо.

— Младенцем, на коленях у матери, сидел я, говорят, не как другие дети; иногда уставливался глазами по целым часам на какой-нибудь предмет, как будто думая о нем, иногда смеялся так долго и приятно, что никто не мог смотреть на меня без удовольствия, и даже сам суровый отец мой улыбался невольно. Никто не слышал от меня крику: всегда послушный, исполнял я с какою-то радостью всякое приказание. Рано пробудилось во мне любопытство, и лишь только стал я

понимать что-нибудь, как и начал расспрашивать домашних обо всем, что попадалось мне на глаза; они не знали, куда деваться от моих изысканий. Надевали ль на меня новое платье, я спрашивал, из чего оно сшито, откуда взята материя, как она делается, кем, где, из чего; подавали ль кушанье на столе, мне хотелось узнать, как оно готовится, из каких снадобьев, где берут сии снадобья, когда ввелось оно в употребление. Ответами никогда почти я не был доволен, и задолго еще до истощения моих вопросов меня заставляли умолкать, и я, с досадою, голодный, принужден был прибегать к догадкам и умозаключениям. В детских играх редко принимал я участие, но напротив любил делать, чем скучали другие: так на осьмом, девятом году для меня приятно было, хоть я и не понимал тому причины, смотреть, смотреть долго на синее небо, осыпанное блестящими звездами, — на месяц, который в туманную осеннюю ночь светлым шаром катился по небу через тонкие облака, — на реку, как она с шумом и белою пеною бьет всякую преграду на пути своем, течет извилинами далеко, далеко

и теряется наконец вдали, чуть видимой.

На девятом году, отслужив молебен Козьме и Дамиану, отдали меня учиться к нашему прежнему дьякону. Скоро я выучил азбуку и понял склады; как удивился я этому искусству разнимать каждое слово на его составы и опять складывать, и писать, чтоб всякой вдали понимал наши неслышные речи! Как человек мог выдумать это, часто размышлял я с собою и тотчас поверил своему учителю, который сказал мне, что первые слова написаны были богом, давшим Моисею десять заповедей на горе Синайской. Переход от письма к печати казался для меня не столь мудреным, хоть я и чувствовал большее удовольствие, рассуждая с собою, каким образом человек постепенно дошел до этого остроумного изобретения.

Меня посадили за часовник и псалтирь. Других книг запретил давать мне батюшко, говоря, что я могу избаловаться от них, отвыкнуть от дела и набраться грешных мыслей. Здесь перервались мои новые удовольствия: я не понимал почти ничего из читанного; дьякон не толковал мне или толковал

так, что растолкованное казалось мне после еще мудренее, наказывал больно, если я не выучивал наизусть скучных уроков, — даже иногда за то, что выговаривал слова не так, как напечатаны они в книге, а как произносятся в просторечии, — и во мне поселилось непреодолимое отвращение от такого учения. Сидя у него за указкою и пером, над непонятными книгами целый день до вечера, я скучал, голова моя тяжелела, ум тупел, и даже в свободное время я не мог уже ни о чем думать, ничто уже не доставляло мне удовольствия. Усталый, в изнеможении, приходя домой, я бросался на постель и спал непробудным сном до нового истязания. Родители мои заметили это, хотя никогда я не смел жаловаться, и, желая сберечь мое здоровье, решились взять меня чрез два года от дьякона, тем более что я выучился уже хорошо читать, писать, считать. Как я был рад! насилу вырвался я из этой душной темницы! Опять я дышал свободою, думал, делал, что хотел, и месяца через два оправился совершенно.

Батюшка стал брать меня в город и приставил к лавке. Сначала я очень полюбил эту су-

ету, этот шум, это разнообразие. Беспреданно видел я перед собою новые лица, возрасты, звания. С утра до вечера народ кипел в рядах., У всякого была нужда, но всякой мог и удовлетворить ее. Эта приятная возможность напечатлевалась на лицах. Все было довольно, радостно, счастливо. Я и сам принимал участие в общем действии и полною рукою оделял проходящих потребными вещами. Одному отмеривал полотно, другой подавал ленты, третьего снабжал платками. В наших лавках есть всякие товары, начиная от самых высоких и дорогих до самых низких и дешевых, от толстого затрапеза и посконной холстины, за которыми приходила к нам нищая старуха, боявшаяся передать одну полушку за аршин, до тонкой дымки, которую покупала знатная красавица, готовая без торгу заплатить вдесятеро против настоящей цены. Для меня приятно было уставлять их рядом в моем воображении. Какая длинная, длинная лестница! Какие частые, почти сходные между собою ступени, и какая чудесная разница на краях! Я долго и с большим удовольствием учился, на что в какой вещи должно смотреть пре-

имуущественно, на каких фабриках, из каких материалов она готовится, из каких иностранных городов получается, когда на нее бывает большее требование, в чем состоит и от чего зависит ее доброта или изъянность.

Так протекли два года. Когда я все понял, когда нечего уже было узнавать мне больше, — видя пред глазами всегда одно и то же, я перестал принимать по-прежнему живое участие в торговле, стал равнодушным; но каким ужасом вдруг объято было мое сердце, когда однажды нечаянно представилась мне мысль, что всю жизнь свою до гроба, до гроба должен я буду проводить одинаково, покупать, продавать, продавать, покупать. Я обомлел...

Неужели бог сотворил меня только для того, — стал я думать успокоившись, — чтоб я торговал, чтоб на пятидесятом году моей жизни стал тем же, чем был в шестнадцатом?

Не может, быть. Если все следующие тридцать лет моей жизни будут похожи на один день, то зачем мне и жить их?

Животное, правда, пребывает всегда в од-

ном состоянии; но разве я, человек, похож на животное?

Нет. Я могу думать, говорить, выбирать, наслаждаться, знаю добро и зло, истину и ложь, мне нравится красота и противно безобразие, я переношу в себя всю природу.

В этом, впрочем, не может еще состоять главное мое отличие: ведь я все это получил от бога при самом рождении и по сему дару могу только назваться любимым чадом божьим, — не более...

На что же дарованы мне сии чудесные человеческие способности? Верно, на какое-нибудь великое употребление, верно, я должен делать с ними что-нибудь другое, не похожее на действия животного с своими?

Они могут возрастать, улучшаться, тупеть; младенцем повиновался я первому движению, — теперь слышится во мне голос рассудка, который указывает мне, что я должен делать, чего не должен; прежде не умел я перечить четырех, не понимал разницы между причиною и действием, забавлялся игрушками, сердился за безделицу, — теперь утверждаю, отрицаю, наслаждаюсь природою, вос-

хищаюсь словами спасителя, повелевающего любить врагов и благословлять клянущих.

Точно, точно — человек должен возделывать свои способности, должен работать над собою, воскликнул я себе торжественно. Вот достойное ему занятие на всю жизнь. Я не должен быть на пятидесятом году тем, чем я есмь теперь.

Все спи мысли с быстротою молнии пронеслись в моей голове одна за другою, скорее, нежели я пересказал их вам теперь. Как будто тяжелая гиря свалилась с моего сердца. Я отдохнул, довольный своим заключением; долго потом размышлял я о причинах, доведших меня до оногo, и совсем позабыл настоящее свое положение, совсем потерял из виду те препятствия, которые встретились мне тотчас, когда дело дошло до исполнения моих новых желаний.

В таких размышлениях я не мог, разумеется, заниматься своим делом: часто за простую бахрому запрашивал я столько, сколько надо взять за лучшее кружево, бархат продавал одною ценою с ситцем, отсчитывался, сдавал лишние деньги; и если бы товарищи, любив-

шие меня от всего сердца, не старались накрывать моих проказ от батюшки, то я беспрестанно подвергался бы великим опасностям. Впрочем, они считали меня помешанным, пред моими глазами в таких случаях пожимали плечами, перешептывались между собою и вслух почти изъясляли свое сожаление. Я не обращал внимания на их суждения и продолжал думать свою крепкую думу.

Все утверждало меня в прежней догадке. От общей мысли я обратился именно к себе: как за прилавком могу я возделывать свои способности? здесь чувствуют удовольствие только от барышей, думают о барышах, действуют для барышей. Здесь притупеют мои способности, точно как притупели они во всех моих товарищах, которые прежде, верно, думали по-моему.

Стало быть, торговля мешает человеку достигать своей цели!

Не может быть: если бы она не была необходима, то не могла бы и возникнуть между людьми, а необходимое не мешает. Лучше ли ее другие знания? Нет: разве судья не употребляет своего времени на решение чужих

споров? Разве крестьянин не орошает кровавым потом земли для нашего прокормления? Разве солдат не учится и не дерется для защиты отечества? Разве ученый, забывая себя, не учит других? Всякое звание, очевидно, необходимо в обществе, и между тем у всякого есть забота, которая мешает ему посвятить себя исключительно на усовершенствование своих способностей...

Нет, нет, я ошибаюсь. Ничто не может мешать человеку. Сии заботы, сии препятствия должны, верно, служить только к возбуждению его деятельности, к укреплению его силы, к возвышению его духа; должны служить ему лестницею на небо. Может быть, без них, избалованный и вялый, он обленился бы на долгом пути своем и заглох, как стоячая вода. С богом боролся Иаков, и спаслась душа его. [11]

...Я весь трепетал среди сих размышлений, кровь моя с удивительною быстротою во мне обращалась, лицо горело...

Так — человек должен исполнять житейские обязанности, радеть о своем теле, но вместе и помнить свою отчизну, небо и ра-

деть о своей душе. Он должен нести терпеливо египетскую работу[12] и стремиться в землю обетованную!..

Когда же ты даруешь ее узреть нам, господи, спросил я в умилении, когда свернем мы с себя сип тяжелые оковы нужды, и, целые, насладимся употреблением всех великих способностей, нам тобою дарованных, когда вкусим полное счастье и увидим в твое царствие? Чего ты от нас для этого требуешь?

«Будите убо вы совершении, якоже отец ваш небесный совершен есть»[13], — слышался мне внутренний голос — и я и восторге упал на колени пред благодатным внушением. Так, так, человек должен усовершенствоваться, повторял я себе почти без памяти. Это было в лавке. Сидельцы захохотали и, увидев меня в таком положении, называли сумасшедшим, но я не внимал их диким воплям. Я был вне себя, в каком-то высоком самозабвении. Я не слышал на себе этих вериг, этой тяжелой плоти. Душа моя парила в горних пространствах. Нет, батюшко, не могу, не могу вам выразить, что со мною творилось. *Сколько я чувствовал! Как будто бы от моего сердца*

протянулись жилы по всей природе, как будто кровь моя разлилась повсюду, и я все услышал, все увидел, осязал, узнал, слился с общею жизнью... я ничего не имел, но все сохранил. — О, зачем я не умер тогда!

Не помню, как я воротился домой. Вскоре занемог я сильною горячкою, которая в шесть недель в самом деле привела было меня к гробу.

Начав оправляться, пришедши в себя, я тотчас обратился к благодатной мысли об усовершенствовании, озарившей мою душу в ту незабвенную, вечную минуту, в субботу 19 января 18...-го года.

Тогда-то с ужасом увидел я ясно, в каком несчастном положении нахожуся, сколько имею особенных неудобств. Отец мой, выросший в нужде, навсегда остался с нею, при миллионах был нищим и беспрестанно боялся, что умрет с голоду. Выше денег нет для него ничего. Меня любит он наиболее потому, может быть, что, по его мнению, я могу сохранить и увеличить его капитал. Как осмелюсь я заикнуться пред ним, что хочу учиться, — как стану просить его, чтоб он отдал меня в

училище, когда при мне часто он называл все училища распутными домами, которые непременно навлекут на землю содомское наказание[14], когда настрого запрещал мне читать даже Евангелие. Притом с самого младенчества я его боюсь как огня. Один взгляд его часто каменит меня. Мать любит меня от всего сердца, но, покорная во всем мужу, — не имея на него никакого влияния, не может подать мне помощи. Посоветоваться, поговорить мне было не с кем, да и, не уверенный ни в себе, ни в людях, я боялся, чтоб не стали насмехаться над моими странными мыслями. — Что мне делать?

Я решился обратиться к книгам. В них, думал я, должна заключаться вся премудрость, в них разумные люди предали своим собратиям благие истины, ими обретенные, о всех предметах, достойных человеческого внимания. Там найду я средства к моему усовершенствованию.

На все деньги, сколько их у меня случилось, купил я себе потихоньку книг, попросив купца отобрать самые лучшие. В глухую полночь, когда все вокруг меня засыпало, я высе-

кал огонь, вынимал из-под полу мое сокровище и принимался читать вплоть до утра. Ах, батюшко, как обманулся я в своем ожидании! Как много мелкого, обыкновенного, пустого нашел я в одних книгах, как много непонятного, бесполезного в других! Стоило ли труда писать их, думал я часто и сожалел, что некому было указать мне на достойные и любопытные: батюшка не спускал с меня глаз и, заметив прежде, что я любил говорить о Библии с одним старым нашим приказчиком, всячески старался держать меня в удалении от всякого сообщения. Редко попадались даже и такие книги, которые хоть бы скуки не навели на меня, очень немногие вознаграждали за потерю времени. Между прочими случилось мне прочесть стихотворения какого-то господина Жуковского. В них нашел я все знакомое, но так сладко, так приятно было мне читать их, что неприметно выучил их наизусть, — и часто, когда грусть стесняет мое сердце, когда моя будущность закрывается темными тучами, я нашептываю себе в утешение его складную речь:

Здесь радости — не наше облада-

ные!
Пролетные пленители земли
Лишь по пути заносят к нам пре-
данье
О благах, нам обещанных вдали!
Земли жилец безвыходный —
страданье,
Ему на часть судьбы нас обрекли!
Блаженство нам по слуху лишь
знакомец!
Земная жизнь — страдания пи-
томец.
И сколь душа велика сим страда-
нием!
Сколь радости при нем помраче-
ны!
Когда, простясь свободно с упова-
нием,
В величии покорной тишины,
Она молчит пред грозным испы-
таньем,
Тогда... тогда с сей светлой выши-
ны
Вся Промысла ей видима дорога!
Она полна понятного ей бога! [15]

Между тем мысли мои следовали по полу-
ченному на правлению. Я не переставал ду-
мать, смотрел в бездну, — и голова моя нако-

нец закружилась. Все прежние вопросы, казалось, решенные, возобновились опять с новою силою. К ним беспрерывно присоединялись другие, или лучше: все Сделалось для меня вопросом безответным. Я недоумевал, сомневался. Часто смотря на небесные миры, я спрашивал себя: есть ли им пределы? Я не мог представить себе сих пределов, — ибо, если есть они, то какая же непонятная пустота за ними находится? — и вместе не постигал беспредельности. — Усовершенствование! — К чему оно? Что такое это ничто, из которого бог сотворил мир? Где превитает душа человеческая по смерти? Падение! искупление! Верую, господи, восклицал я, обливаясь горькими слезами, помози моему неверию[16]. Я чувствовал, что диавол искушал меня, — мысль моя мешалась, в душе открылась какая-то пропасть, которая всем своим вместилищем алкала содержания и осуждена была на пустоту. Жизнь моя преисполнилась муки. Но это не все, — оставалась еще мысль, которая могла произвести на меня ужаснейшее действие, и я зародил ее: что, если я служу мечте — и, грешный, своими рассуждениями

собираю казнь на преступную главу свою в день страшного суда божия!

Я предавался отчаянию. Часто в бешенстве бил я себя в грудь, рвал волосы, готов был разрушить все и, изнуренный, падал на землю. Вы слышали, батюшко, как я был счастлив в ту минуту. Столько же, нет — еще более, стал я несчастлив после.

Одно было у меня утешение — ходить по воскресеньям к обедне в Шереметевскую больницу. Там, стоя в преддверии, обливался я горькими слезами и молился. Отдаленный алтарь, представлявший мне в каком-то таинственном сумраке, растворенные царские двери, священник, воздымавший длани к милосердному за грехи всего мира, согласное пение ликов, все наполняло душу мою благоговением. С каким умилением смотрел я на за престольный образ спасителя, возлетавшего из гроба в горняя! Моя душа рвалась за ним.

Другое утешение обретал я, слушая по все-нощным Евангелие, читаемое вами. Каждое слово, произнесенное вашим важным и вместе усладительным голосом отзывалось в моем сердце: «Приидите ко мне вси труждающи-

еся и обремененнии, и аз упокою вы. Возмите иго мое на себе, и научитесь от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем: и обряцете покой душам вашим. Иго бо мое благо и бремя мое легко есть».[17] — Господи, — вопрошал я, повергшись во прах, — скажи, твое ли иго на мне?

Месяца два тому назад я прочитал книгу об естественной истории и физике. В ней узнал я много любопытного о разных примечательных явлениях в природе, на которые прежде смотрел глазами невежи. Круг моего зрения распространился, хоть, к сожалению, многого не понял я в сих драгоценных книгах. Особенно заняла меня статья о бабочках: как сии насекомые личинками укрываются в темноте и ищут себе пищи, — как в куколках образуются все их части, — как наконец вылетают они из своих темниц и красуются по лугам и полям в великолепном убранстве. Во мне поселилась мысль о смерти. Я люблю думать о ней и признаюсь, во время сих-то размышлений бываю наиболее спокоен, какое-то тихое уныние, в которое ныне погружается иногда утомленная душа моя, служит

мне залогом, что предчувствие мое сбудется и я скоро достигну тихого пристанища, идеже несть болезни, ни печали, ни въздыханія.[18]

*... Мне ужасов могила не являет,
И сердце с горестным желаньем
ожидает,
Чтоб Промысла рука обратно то
взяла,
Чем я без радости в сем мире бре-
менился,
Ту жизнь, в которой я столь мало
насладился,
Которую давно надежда не зла-
тит.[19]*

Вот, батюшко, вся история моей жизни. Сам я никогда не видал ее так ясно, как показал вам теперь, и удивляюсь, откуда взялись у меня слова на то, чтоб выговорить в порядке все мысли, рассеянно пронесшиися в голове моей в столь продолжительное время. Верно, мое желание дало мне силу, и, косноязычный, я обрел язык пред вами. Рассудите и научите меня. Единственное мое желание: смерть или свет.

— Сын мой, — сказал важным голосом свя-

щенник, задолго до окончания речи вставший невольно с своего места пред молодым человеком, — благо тебе, что святая вера никогда не покидала тебя среди опасных сетей, раскинутых для твоего уловления человеконенавистником[20]. Молись, молись богу; и он, даровавший тебе душу пылкую и разум острый, пронизательный, укажет и путь, в оньже пойдешь, по может одолеть соблазны и ниспошлет душе твоей желанный мир и упоение. Я посету твоих родителей послезавтра и буду просить их, чтобы они отпускали тебя чаще беседовать со мною. Здесь будем мы молиться вместе, здесь в Евангелии, писаниях святых отцов и мудрых мужей будем мы почерпать святые уроки истины, и, может быть, духовный глад души твоей утолится, и ты спокойно, не яко Моисей, но яко Навин, узришь землю обетованную.

Юноша упал в ноги к священнику и в пламенных выражениях благодарил за приветствие. Напутствуемый благословениями, оставил он с миром скромное жилище, в котором целебный елей утешения пролился на его смертельные раны.

Дорогою был он в необыкновенном расположении духа; действительно, сколько случилось с ним неожиданного, нового в этот краткий промежуток времени: он собрал все свои мысли и чувствования; уразумел их яснее, нежели когда-либо, почти пережил опять, рассказал свою жизнь, испытал новое, прекрасное удовольствие, которое доставляет человеку свое слово, получил одобрение, надежду... Душу его волновали разные чувства, которые разрешились наконец в какое-то безотчетное изумление.

Так воротился он домой и пошел в гостиную явиться к родителям.

Какие роковые слова поразили слух его в ту минуту, как отворил он дверь?

— Божьего-то милосердия маловато, Савишна, — говорил отец, сидевший на софе между женою и свахою и державший в руках толстую синюю тетрадь, — ведь, почитай, только пять образов в окладах, а порядочной один, Казанская[21] — убрус[22] низан жемчугом; ободки-то нечего и считать?

Понял юноша, о чем идет речь, и почти без

памяти упал на стуле подле двери, из-за которой только что показался.

Старики, слишком занятые разговором, не заметили вошедшего и продолжали свое дело.

— Божьего милосердия Куличевы еще подбавят, Семен Авдеевич, — подхватила сваха, — они желают, как бог даст, сладится дело, выменять образ во имя женихова ангела и невестина вместе и убрать камнями. После сестры куда много осталось у них серег да колец — камни все разноцветные, как жар горят: муж у покойницы торговал этим товаром. Впрочем и то сказать: вы не так считаете. Кроме Казанской, есть Ахтырская, Николай Чудотворец в золоченом окладе; спаситель, правда, в серебряном, — ну а четыре образа в венцах с полями? Чего же больше!

— Серьги бриллиантовые с бурмицкими [23] подвесками, — продолжал читать Семен Авдеевич, довольный обещанным пополнением. — Эхма, все пишете вы неаккуратно. Надо бы прибавить, во сколько крат: серьги серьгам розь. Пожалуй — насажают крупнок, а все говорят: бриллиантовые.

— Извольте взглянуть подальше: цена выставлена. По ней можете вы рассудить, каковы крупинки — в пять тысяч рублей.

— В пять тысяч рублей! А кто оценил их в такую цену?

— Помилуйте, Семен Авдеевич, ведь вы чай Куличевых знаете, — слухом земля полнится, — неужто станут они в глаза обманывать?

— Ну хорошо, хорошо. Я не люблю только, что пишете вы необстоятельно. — «Серьги бриллиантовые же, камни помельче, без подвесок, — серьги третьи, золотые, буднишные, с яхонтиками. Серьги четвертые, желудками, янтарные». — Серег довольно. — «Гребенка бриллиантовая иностранной работы в восемь тысяч». — Вот эта штука на порядках. — «Склаваж[24] бриллиантовый в семь тысяч». — Не дурно и это. — «Перстень изумрудный, осыпан бриллиантами в три ряда, один ряд покрупнее, два помельче». — Тьфу пропасть, да бриллианты-то у них, Савишна, али дома родятся, что ли? Ну-ка, Маша, подай нам шипучего, — сказал Семен Авдеевич, развеселясь при мысли о таких сокровищах.

— Как же, — сказала молчавшая доселе Марья Петровна, отходя за вином в ближний поставец, — жито долго, без мотовства, коплено, — притом ведь дочь родную выдают, не падчерицу.

Сваха между тем в торжестве осклаблялась умильно.

— Налей же нам по рюмочке да перестань пенить: ведь в пене толку нет. Не готов ли и пирог горячий? Мы закусили бы кстати.

— Больно рано, батько, сейчас только в печку поставили; чай не пропекся еще.

— Ин подождем маленько. Я не спорного десятка. А покамест разберем еще кое-что в грамотке. — «Кольцо золотое с сердоликом. Кольцо золотое с ага... ага... агат... агатом». — Это что за камень такой — ага... агат?

— Не умею сказать, батюшко, это вписывал золотых дел мастер. Чай должен быть камень не простой.

— Уж не с хитрости ли так написано: невесту-то ведь зовут Агафьею? — примолвила остроумная Марья Петровна.

— «Колец ординарных шесть». Вот так лучше: гуртовой счет я люблю. Теперь «о голов-

ных уборах». Ну — пошло тряпье. Это твое дело, Маша, читай.

— Эх, батюшко, ведь ты знаешь, что я на медовые деньги училась и печатное-то насилу разбираю, где же возиться мне с скорописью. Тут же такая мелочь.

— Да я ведь в этом толку не знаю, а впрочем пожалуй: «Ток блондовый с жемчугом и панашем из царских перьев в восемьсот рублей. Платье блондовое плетеное с каймой на атласном чехле, отделанное блондами в поларшина шириною, с руладками и розетками из венецианского атласа, в тысячу пятьсот рублей». — Эки штуки! Это подвенечное, что ли?

— Нет, батюшко, подвенечное не пишется, — подхватила тотчас Марья Петровна, желая пощеголять своими познаниями. — Его должен припасать жених.

— Вот тебе раз! Уж хоть бы первое платье жена себе сшила, а то — припасай муж от первого и до последнего. Так я тебя, мой друг, обуваю, одеваю тридцать лет невступно. Когда мы свадьбу-то с тобою играли? — спросил он, разнежившись, милую свою половину.

— Послезавтра, на день мученика Евлампия.

Старик продолжал читать роспись о числе и качестве салопов летних и зимних, сорочек мужских и женских, о брачной постеле, о переменах на подушки, о простынях, периных, тюфяках, полотенцах, скатертях, салфетках, комодах, зеркалах, — но мы избавляем наших читателей от сих подробностей, на кои Марья Петровна обращала строгое внимание и загоняла вопросами сваху, с которой пот катился градом. Непременно надобно было объяснить ей: хорошо ли подобраны меха, ровны ли полы, пушисты ли и черны ли воротники, плотен ли атлас на зимних салопах, — какова тафта на подкладке, довольно ли ваты, хорошо ли выстеганы летние, — из какого полотна шиты сорочки, все ли в два полотнища, — в какие наволоки всыпан пух и сколько весят перины, — широка ли фалбора на наволочках, — как велики одеяла, цельные или составные зеркала, и проч. и проч.

Прасковье Савишне за словом ходить в карман было не нужно, — и Семен Авдеевич только что послушивал да посмеивался, ди-

вьясь опытности супруги и искусству свахи. Как одна не упускала ни одного случая, где могла заметить недостаток, так другая старалась выставить везде излишек, и прение кончилось благополучно. Впрочем, со стороны родителей истребовано было непременно, чтоб Куличевы прибавили еще два образа в серебряных ризах для полного замещения образной, салоп летний будничный, дюжину рубашек мужу и одну перемену на наволочки попараднее. Прасковья Савишна, видно, уполномоченная, обещалась удовлетворить их желание.

— Приданое порядочное, — сказала в заключение жена, смотря на мужа. — Я с своей стороны согласна; как вам будет угодно, Семен Авдеевич?

— А на сколько приданого-то всего на все? — спросил купец.

— На пятьдесят тысяч.

— Денег сто тысяч. Да! какова бишь невеста собою, я и позабыл спросить.

— Ей всего тринадцать еще лет, батюшко, — беленькая, как колпик[25], румянькая, — немножко толстенъка, да ведь нынче

стягиваются.

— Я согласен, — сказал старик. — Мы пошлем от себя нынче к Куличевым сестру Анну с предложением, а там хоть и смотр назначить завтра.

— Они также откладывать не станут. И то сказать: приготовляться им, что ли? Все свое домашнее, готовое, — родня покорна, тотчас соберется.

— Ладно. Выпьем-ка еще на прощанье. Вот и пирог готов горячий. Ай да Маша!

— Послушай, свет мой Прасковья Савишна, — сказала хозяйка, — приходи ты завтра к нам в вечерни; мы вместе и поехали бы на смотр.

— Поезжайте уж одни, мне нельзя, родимая. Я обещалась у них вывести невесту; пошла слава, что у меня рука легка: кого выведу на смотр, так уж быть той под венцом. Я признательно вам скажу, что Куличевым больно хочется выдать свою Агафью Григорьевну за вашего сына, и по состоянию вашему, и по житью, и по слухам: они ведь давно уж спрашивали об вас и у частного майора, и у старосты церковного, и в ряду. Теперь таить нече-

го.

— То-то же! знай наших! — сказал с гордостью купец, между тем как сваха поднялась, окончив свою миссию с желанным успехом, и прощалась с его женою. — До свидания, Савишна. Твое за нами.

— Знаю, батюшко, что обижена вами не буду, — и отправилась в сопровождении Марьи Петровны.

— Гаврило, — воскликнул тогда отец к сидевшему безмолвно сыну.

Он очнулся, как бы из глубокого сна внезапно пробужденный, и стал озираться кругом мутными глазами. Несчастный! каким ядом напоялось твое сердце в то время, как отец и мать с заботливостию собирали тебе имение! Куда не проникнул этот яд, когда ты услышал роковое воззвание к себе?

— Гаврило! мы поедem скоро посмотреть тебе невесту, Все ли платье у тебя готово? Ты, неряха, пожалуй, оденешься в лохмотья. — Сказал и пошел к Марье Петровне, которая, проводивши гостью, стала собирать на стол — без памяти от удовольствия, видя своего мужа в таком необыкновенном располо-

жении духа, веселого, разговорчивого.

А что наш Гаврила?

Как шальной повлекся он в свою светелку, и мы не можем сказать, спал ли он или нет.

Вечеру тетка по обряду ездила к Куличевым с предложением от имени своего брата — выдать дочь за его сына. Те приняли предложение, разумеется, с удовольствием, и с общего согласия положено было на другой день после вечерен быть смотру.

Разрядившись, Марья Петровна в шелковом лиловом платье, в желтой турецкой шали, с пятью нитками жемчуга на шее, в тяжелых серьгах, от которых длинные ее уши оттягивались еще более, в шелковом платке на голове, — Семен Авдеевич в синем тонком сюртуке, одного цвета с сыновним, — отправились к нареченному почти тестю и теще, Послушный сын их, казалось, лишился даже способности чувствовать, не только говорить. Мрачный и неподвижный, он похож был более на каменную статую, нежели на живое существо, и по виду его нельзя было судить, что происходило в глубине его сердца.

Все комнаты освещены были у Куличевых, еще засветло; окошки закрыты живописными сторами, в удержание любопытных; по стенам горели восковые свечи в бронзовых жерандолях. В зале несколько купцов в углу о чем-то шумели и при появлении гостей немедленно умолкли. В гостиной по стенке барельефами сидели нарядные их жены с сложенными руками, молча и поглядывая на двери. Приезжие представились хозяевам, раскланялись с гостями и сели на указанные места: отец женихов подле отца невестина, мать женихова подле матери невестинной, жених посредине, — вокруг большого стола, уставленного разными вареньями, пастилами, сухими плодами и другими закусками, под сению лимонного дерева. Лишь только начался было обыкновенной разговор, как и отворилась дверь из ближней комнаты, явилась невеста, выведенная легкою рукою Прасковьи Савишны, — в белом бархатном платье, девочка низенькая, но толстая-претолстая, с одутловатыми щеками, набеленная, наарумяненная, рассеребренная, раззолоченная и всякими драгоценными камнями

изукрашенная; она поклонилась и села благо-
чинно подле своих родителей. Старики стали
толковать об упадке торговли, о новом кана-
ле, о понижении цены на хлеб, которым тор-
говал Куличев, о предстоящих банкротствах;
старухи — о прошедшем гулянье, о шаре, ко-
торый удивительно как высоко поднялся на
воздух с человеческою фигурою, и о вчераш-
них богатых похоронах. Жених же не вымол-
вил ни одного слова с невестою. Такое явле-
ние было однако ж отнюдь не странно и
оправдывалось скромностию молодого чело-
века, более достойною хвалы, нежели осужде-
ния. Куличевым было это даже очень прият-
но, потому что их милая Агаша не с этой сто-
роны могла предупредить в свою пользу. Сва-
ха Прасковья Савишна была душою разгово-
ра: как валдайский колокольчик, так и зали-
валась она перед всеми, подпускала шуточки
насчет жениха с невестою, насчет пожилых
жен и мужьев и получала себе одобritel-
ный ответ в непрерывном хохоте всей чест-
ной компании. Между тем на больших подно-
сах в фарфоровых дорогих чашках стали раз-
носить кофе, чай, вина, закуски. Таким обра-

зом время шло неприметно и со всяким удовольствием как для гостей, так и для хозяев. Семену Авдеевичу понравился особенно сам Куличев: его расчетливость, проницательность, оборотливость, наконец, уважение, которое хитрый старик умел показать в разговоре к будущему своему родичу насчет его удачных оборотов, а всего более богатство, везде очевидное, преклонили совершенно на его сторону самолюбивого скупца, который даже и подгулял на радостях. При прощанье сей последний дал ему понять, что готов породниться с ним от всего сердца.

С такими чувствами по радушном угощении расстались новью знакомые уже поздно вечером.

Молча Авакумовы возвращались домой. Старик обдумывал будущие свои спекуляции, старуха припоминала виденные ею великолепные наряды на гостях, а сын... он пришел наконец в себя: все виденное, слышанное им возбудило его умственную и сердечную деятельность. Сначала обнаружилась, разумеется, первая: невольно он углубился в размышление о человеке вообще, о разделении на по-

лы, мужеский и женский, об их назначении, различии и связи, о параллельных явлениях во всей природе... заиграла и фантазия: ему представилась картина счастливой любви; составиля идеал прелестного существа, которое ему верит, одно с ним думает, чувствует, которое его понимает, любит, с которым он живет одною жизнью. Какое счастье, воскликнул он, забывшись в восторге, друг мой... и вдруг ему представилась в воображении чучела, которую родители назначали ему в спутницы жизни. Он испугался, как при виде ядовитого насекомого, задрожал... «Нет, нет, никогда! скорее соглашусь на безумие, скорее... так... может быть... но осталось еще средство, последнее, — подождем священника: какое действие произведет на родителей его посещение? Если же...»

С сею твердою мыслию бросился он нераздетый на стул и уснул глубоким сном вплоть до позднего утра.

Между тем священник, удивленный своим открытием, все это время рассуждал о средствах, как уровнять пылкие порывы юноши,

удержать его на одной дороге и направить к одной цели, как успокоить его волнующееся сердце, которое ко всему стремится и ничего не достигает, как дать ему столько же внимания, сколько он имел остроты и проницательности, — как наконец убедить его родителей на то, чтоб они согласились отказаться на время от своих прав над сыном и позволили ему заниматься под руководством своего духовного отца. Последнее — было всего труднее. Зная упрямство Авакумова, он никак не надеялся достигнуть вдруг своей цели; но, решившись употребить все свое ораторское искусство, решившись воспользоваться своим званием, знакомством, он никак не боялся и совершенной неудачи. Обдумав все, он ожидал с нетерпением назначенного дня.

Добродетельный старец! Напрасно ты беспокоился, тосковал, когда долго не представлялись твоему воображению удачные средства, напрасно им радовался, напрасно наконец принимал жестокие брани за столбняк от своей взыскательной супруги! Судьба Гаврилы уже решена отцом.

В четверг, рано поутру, помолившись на

коленях пред своею образною, добрый отец Феодор пошел к Авакумовым, и вот какими неожиданными словами встретил его веселый хозяин:

— Поздравьте нас, батюшко, у нас затевается свадьба.

— Какая свадьба? Здравствуйте, Семен Авдеевич!

— Милости просим — сына женим.

Можно представить себе удивление посетителя!

Собравшись несколько с духом и увидев, что наступила минута решительная, что должно переменить план, действовать или теперь, без дальних проводов, или никогда, он поздравил Семена Авдеевича по его требованию и начал исподволь рассуждать о его сыне, о молодых его летах, о верной надежде всегда найти выгодную невесту, как по состоянию его родителей, так и по отличной репутации. Потом, заметив удовольствие самолюбивого собеседника, искусный оратор стал говорить о великих способностях Гаврилы, которые заметил в нем в продолжение краткой беседы о пользе, которую он может принести

отечеству своими услугами, и, наконец, о славе, которою может возвеличить все семейство, если дадут ему средства заняться науками.

— О каких науках говорите вы, отец Федор? — воскликнул купец, удивившийся в свою очередь. — Наше ли это дело купеческое? Разве без нас мало дураков, которые смотрят в яму и в ад с этими науками?

Священник истощал все свое красноречие на убеждение этого закоренелого невежи, что науки, во благо употребленные, в духе святого Евангелия, обогащают, прославляют, счастливят государства; помогают человеку уразуметь благодеяния господа и достойно благодарить его и наконец отверзают ему райские двери.

— Отец Федор! и без ваших наук мы прожили век не хуже других. Посмотрите, — у соседа сын учился в школе, да и надавал на отца фальшивых векселей на сорок тысяч, — шутка! — вот тебе и науки! Хоть бы их с корнем вон!

— Все можно употребить во зло, — отвечал священник — и, увидя свою неудачу с этой

стороны, стал обращать речь на другую и начал доказывать, опираясь на божие слово, в какой ответственности пред богом находятся и какому наказанию подвергаются родители, если препятствуют детям в их благих намерениях.

— Если правду вам сказать, отец Федор, — прервал речь его сердито старик, вставший с своего стула, — мы толчем с вами воду, Я ударил по рукам с Куличевым и слово свое сдержу. Спасибо вам за ваши науки и за ваши советы, а впрочем у меня уж и у самого седые волосы.

Священник с горестию увидел, что ему теперь больше делать нечего, что он своею неуместною проповедию может ожесточить упряма и сделать больше вреда, чем пользы, своему любимцу, что должно надеяться еще на время — сказал несколько слов в утление его гнева и распрощался с ним, — а вместе с женою его и с сыном, которые тогда вошли в комнату.

— Сын мой, — сказал он юноше с глубоким вздохом и слезами на глазах, давая свое благословение, — претерпевый до конца, той

спасен будет.[26]

— Дух бодр, но плоть немощна[27], — отвечал ему твердым голосом несчастный, услышав такое наставление и поняв с ужасом, чем кончилась беседа.

— Каков мудрец, — сказал Семен Авдеевич, оставшись один с своим семейством, — подъехал ко мне с науками. Нет, брат, старого воробья на мякине не обманешь. Ну, Гаврило, тебе бог дает славную невесту.

— Батюшко, я не хочу жениться, — отвечал ему сын отрывисто.

— Как не хочешь жениться! — воскликнул старик с гневом. — Ведь я приказываю. Это еще что? Иль поп надул тебе в уши такие науки?

— Глупый, — продолжал он чрез минуту, одумавшись, что в такое время лучше вести дело тихо, — ведь за невестою полмиллиона.

— На что мне они?

— На что! мы заведем контору в Петербурге, — отвечал почти с улыбкою старик, невольно обрадовавшийся случаю высказать любимые планы, которые завертелись у него в голове с третьегоднийшего смотра.

— А потом что?

— Мы удвоим свои обороты, сами станем выписывать товары и будем получать барыш двойной.

— А потом что?

— Потом мы заведем ситцевую фабрику, почище Федоровой — давно уж хочется мне утереть нос этому гордецу.

— А потом что?

— Купим себе завод в Перми: там нынче, говорят, золото находят под каждым шагом.

— А потом что?

— Потом, разумеется, станем ворочать миллионами. Да кой прах, — закричал опять грозно опомнившийся старик, — об чем стал я говорить с тобою! Разве это твое дело? Я так хочу, и дело кончено.

— Батюшко, позвольте мне в первый раз от роду сказать вам одно слово. На что нам миллионы? Нас только трое. Нам довольно и того, что имеем. Ведь лишние — и миллион, и рубль — равны.

— Миллион и рубль равны! да что ты за сумбур, что ты за науку несешь? Или ты вовсе рехнулся? Слушай, Гаврило, много пустого го-

ворил я и с тобою нынче. Вот тебе мое слово: я хочу, чтоб на той же неделе был ты женат на Куличевой, и не будь я Семен Авдеев Авакумов, если этого не сделается.

— Решительно ли вы говорите это мне, батюшко? — спросил его юноша.

— Да.

— Решительно ли вы мне говорите это? — повторил он таким голосом, от которого мать его невольно перекрестилась.

— Решительно!

Юноша умолкнул. В нем боролись страсти. Он смотрел на образ, на мать, на отца, дрожал и наконец стремительно бросился к ним в объятия, осыпал их горячими поцелуями, прижимал к своему сердцу и обливался горячими слезами.

— Простите, простите меня, мои добрые родители, — повторял он, рыдая на их груди, и выбежал из комнаты в свою светелку.

Старики не понимали такой внезапной перемены и в изумлении смотрели друг на друга.

— Что с ним сделалось, с моим другом сердечным? — сказала наконец растроганная

мать.

— Верно, он опомнился, — сказал старик, вышед из недоумения, — ведь он не глуп, хоть поп и хотел учить его наукам. Ну, слава богу, я рад, что все хорошо окончилось. Волею, вестимо, дело все лучше, чем неволею, — и старики занялись разговорами о предстоящей свадьбе. Марья Петровна начала высчитывать, сколько подарков должно припасти для невестина поезда и вообще какие распоряжения должно сделать к свадебным пирам, с кем посоветоваться о поварах, кондитерах, музыкантах, какие покои должно отвести молодым, где поставить брачную кровать. У старика не выходили из головы миллионы, и он беспрестанно твердил, что должно торопиться и что только такую скорою мерою можно положить конец черной немочи сына.

Таким образом прошло утро и наступило время обеденное. Семен Авдеевич выпил ужрюмку травнику и закусил, девки давно уже собрали на стол, — наконец Марья Петровна повестила, что щи поставлены.

— Теперь за обедом мы помиримся с нашим Гаврилою, — сказал старик, — кликните

его.

Но откликнется ли он?

На двор въехала телега в сопровождении квартального, лекаря, будочника и какого-то купца. На этой телеге привезен был мокрый, бледный труп Гаврилы.

Приехавший купец, старый знакомец, вошел поспешно в комнату, где веселые старики собирались обедать.

— Молитесь богу, Семен Авдеевич и Марья Петровна, и скрепите ваше родительское сердце. Сын ваш бросился с Каменного моста и утонул.

— Ах!

Мать упала в обморок. Отец остолбенел. Купец продолжал:

— Я проезжал мимо, увидел сумятицу и спросил: что такое? Мне отвечали, что какой-то молодой человек посередине моста, улучив время, когда народ был только с краев, перекрестился на Кремль, поклонился на все стороны и бросился в реку, в то место, где вода подле свай бьет сильнее. Я любопытствовал и остановился. При мне бросились

рыбаки в лодке, долго искали и вытащили тело. Тотчас узнал я по лицу Гаврилу Семеновича и выкинул сто рублей для рабочих, чтоб усерднее и скорее стали откачивать; по уже было поздно, и он скончался. Полиция хотела было взять тело на съезжую[28], но я упробил знакомого частного[29], чтоб такого позора вам не делали и позволили отвезти тело домой. Вот оно, смотрите — на дворе.

Мать лежала без чувств. Старик слушал речь и не слышал ее и страшно поводил глазами. Смертная бледность покрывала лицо его.

Перепуганные домашние бросились к священнику. Сей прибежал немедленно, с воплями бросился на труп молодого своего друга, над которым были несчастные родители, и осыпал поцелуями.

— Примите с покорностию наказание, — сказал он наконец преступникам, собравшись с духом. — Вы заслужили его — но милости его несть числа. Молитесь и не отчаивайтесь. Сыну вашему там лучше. Ах, несчастный, — прибавил он про себя, вспомнив, какой конец положил себе нетерпеливый юноша, — ты лишился и этого.

Священник велел себя повести в его комнату. Там на столе нашел он письмо к себе следующего содержания — последний глас страдальца, которому судьба назначала быть вторым Гердером или Ломоносовым:

«К тебе, святой отец, дерзаю я обратиться с последним словом своим на земле. Не отвергни его. Моего терпения не стало больше. Меня хотят убить тысячью смертями. Я выбираю одну. О! может быть, она тяжелее тысячи, может быть, на небе я буду еще злополучнее, чем на земле. Что делать! Чувствую, чего достоин я. Молись обо мне. Много может молитва праведного. Ты один на земле был добр для меня. Не оставь и в могиле.

Еще одна просьба, сердечная просьба. Утешай моих родителей. Несчастный! Сколько горя я делаю им! каким позором покрываю седые их головы! Они не виноваты. Как им было понимать меня!

Исповедуюсь пред тобою в последнем грехе, которого не хочу унести с собою в могилу: смерть мила мне еще как опыт. Молись, молись обо мне. Целую,

недостойный, руку твою».

Юношу погребли близ кладбища, за Серпуховскою заставою направо от большой дороги. Туда всякой день приходила пешком мать его и горькими слезами орошала землю, покрывающую прах ее возлюбленного сына. Там, на его могиле, под деревянным крестом нашли ее однажды мертвую. Старик торговал по-прежнему, но и он стал задумываться чаще, а иногда на глазах его видели даже слезы, которые утирал он украдкою от своих приказчиков.

Примечания

...в кругу крест — знак в уставе церковных служб, указывающий на значительность праздника.

[^^^]

Блаженный Августин (354–430) — христианский писатель, богослов.

[^^^]

Платон и Амвросий — вероятно, имеются в виду митрополит Московский Платон (Левшин 1737–1812) и митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов, 1742–1818).

[^^^]

Преосвященный Августин — архиепископ
Московский (А. В. Виноградский, 1766–1819).

[^^^]

Ставленная грамота — свидетельство архиерея, удостоверяющее посвящение в сан священника.

[^^^]

6

В октаву — в восьмую часть листа.

[^^^]

Глазуновский месяцеслов — возможно, имеется в виду вышедший в 1808 г. в типографии И. Глазунова «Поваренный календарь или самоучитель поваренного искусства, содержащий наставление к приготовлению снедей на каждый день в году, для стола домашнего и гостиного».

[^^^]

8

...кийждо искушается, от своая похоти влеком и прельщаем — слова из соборного послания апостола Иакова (I.14.2–4).

[^^^]

Пресвитер — священник.

[^^^]

Бургиева реторика — популярный учебник по риторике немецкого священника И.-Ф. Бурга (1689–1766).

[^^^]

С богом боролся Иаков и спаслась душа его —
имеется в виду известный библейский сюжет
(Книга Бытия, XXXII. 24–30).

[^^^]

Египетская работа — здесь: рабская.

[^^^]

Будите убо вы совершени, яко же отец ваш небесный совершен есть — слова из Евангелия от Матфея (V. 48).

[^^^]

Содомское наказание — по библейскому преданию, город Содом был уничтожен в наказание за развратный образ жизни, который вели его жители.

[^^^]

Здесь радости — не наше обладанье *и далее* —
строфы из элегии Жуковского «На кончину ее
величества королевы Виртембергской» (1819).

[^^^]

16

Верую, господи, <...> помози моему неверию — слова из Евангелия от Марка (IX. 24).

[^^^]

Приидите ко мне *и далее* — слова из Евангелия от Матфея (XI. 28–30).

[^^^]

...идеже несть болезни, ни печали, ни воздыхания — слова из церковного чина отпевания.

[^^^]

Мне ужасов могила не являет *и далее* — не совсем точная цитата из послания Жуковского «К Филарету» (1809).

[^^^]

Человеконенавистник — дьявол.

[^^^]

Казанская — имеется в виду казанская икона богородицы.

[^^^]

Убрус — особо нарядное полотенце или вышитый иконный оклад.

[^^^]

Бурмицкие — из крупного жемчуга.

[^^^]

Склаваж — женский головной убор с драгоценными украшениями.

[^^^]

Колпик — птица с белым оперением.

[^^^]

26

...претерпевый до конца, той спасен будет —
слова из Евангелия от Матфея (X. 22).

[^^^]

Дух бодр, но плоть немощна — неточная цитата из Евангелия от Матфея (XXVI. 41).

[^^^]

Съезжая — полицейская управа.

[^^^]

Частный — начальник полицейской части.

[^^^]